



## ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО

В то раннее утро дети еще спали, и я сорвался с постели, будто дом охватил пожар. С кошачьей ловкостью бесшумно бросился к телефону. Сонный и хриловатый голос именно меня и требовал...

Это был необычный звонок. Приглашение. Меня приглашали на похороны... совершенно незнакомого мне человека. Никогда не видел его, не числился родственником. И все же настоятельно просили, так сказать, принять участие в похоронах. Дали понять, что таково было желание самого покойного. Мол, он перед смертью просил, чтобы меня пригласили на похороны.

И я пошел. Все было необычно в этом доме. Скорее, не в доме... Сами похороны были необычными. Хотя трудно сказать, что именно было необычным... Может, то, что не было траурной музыки. Может, то, что у гроба не было плачущих.

В однокомнатной квартире, у самой стены, сидела одетая в обычное, будничное платье женщина с сонными глазами. Трудно было определить ее возраст. И все же — явно не меньше тридцати. По обе стороны от нее сидели еще две женщины. Все они, наверное, были сверстницами. В комнате больше никого не было.

Видел я еще нескольких мужчин, суетившихся в коридоре. Они то заходили в кухню, то, ворча, вновь выходили в коридор. Обратил внимание и на то, что лица у них были ничуть не скорбные. Скорее, злые. Казалось, они выполняли какое-то задание, которое им явно было не по душе.

Человек, лежащий в гробу, был примерно моего возраста. Говорят, возраст покойника довольно легко определить. Лицо — как на картинке. Спокойное. Естественное. Без напряжения. Вот я определил: сорок три года. Широкий лоб. Черные волосы с выраженной сединой на висках. Тяжелая, выдающаяся вперед нижняя челюсть. Многие утверждают, что такая нижняя челюсть бывает у боксеров. На какое-то мгнове-

ние мне показалось, что покойника я где-то встречал. Но, как ни силился, не мог вспомнить, где именно мог видеть его.

Честно говоря, положение мое в этой комнате было не то что неловкое, а даже непонятное, если не сказать дурацкое. Так, наверное, бывает, когда случайно попадаешь в совершенно незнакомую компанию и чувствуешь себя, как говорится, «не в своей тарелке».

Когда наконец суетящиеся мужчины вошли в комнату и подняли гроб, я, улучив момент, представился вдове. Она показала глазами на выплывающий из комнаты гроб: мол, это он лично просил, чтобы я сегодня был здесь, в этом доме.

Все мы поместились в одной машине. В центре стоял гроб. Рядом жиденький венок. Несколько разбросанных гвоздик. Только на кладбище я узнал, что суетящиеся и довольно грубые мужчины были сотрудниками покойного. Умер человек, и местком поручил им организовать похороны. Для этой цели даже выделили какую-то сумму.

С кладбища вернулись уже на разных машинах. Суетящиеся мужчины нашли себе какую-то частную. Я же подвез женщин на такси. Всю дорогу молчали. Я ловил себя на мысли, что желаю только одного: как можно быстрее расстаться не только с моими спутницами, но и с этой ужасно для меня неестественной ситуацией. Иногда мне казалось, что вообще кто-то со мной сыграл злую шутку. Машина остановилась у самого подъезда. Все молча вышли из нее. Женщины с холодной вежливостью пригласили меня домой. Я отказался. Но сделал это так, чтобы не обидеть их. Расставшись с ними, быстро зашагал прочь, словно боялся, что меня могут нагнать.

Вернулся домой усталый и опустошенный. Еле тащил ноги. Так намаялся, будто весь день тянул за собой тяжелый плуг. А ведь ничего вроде и не делал. Постоял у гроба незнакомому человеку. Приехал в машине на кладбище и обратно. Бросил несколько горстей сырой земли в сырую могилу на гроб, в котором лежал незнакомый мне человек. Правда, все это время я не расставался с мыслью, что все-таки покойный не был вовсе незнакомым. Может, в первый самый миг был незнакомым, но потом, когда я постоял у гроба, когда я сопровождал его на кладбище, когда я бросил землицы в могилу, он для меня стал человеком знакомым и близким. И я вовсе не жалел, что поехал на эти похороны.

И все же меня, не скрою, просто бесило, что вдова, как бы ей ни было тяжело, хоть двумя словами не попыталась объяснить

мне, почему это ее муж перед смертью просил меня посетить его похороны. Она даже не поблагодарила меня за то, что я уважил-таки просьбу. Правда, за подобные мысли я сам себя казнил, иронизировал: мол, смотрите, какой я — подвиг совершил. Не отказал. Уважил просьбу человека. Пошел на похороны.

Но в конце-то концов не такой уж он незнакомый. Как-никак мой современник. Мало того, сверстник. А я вон не хочу скрыть обиды на бедную вдову, которой и без того сейчас не легко. У нее горе ведь.

В подъезде у нас висят железные плоские ящики. Они пронумерованы. Почта. Мой — прямо у лифта. И всякий раз, прежде чем открыть ящик, я нажимаю на кнопку вызова лифта. Пока кабина спустится, я успеваю достать почту. Газеты и журналы. Иногда письма. Письмо я распечатываю всегда уже в лифте.

Письмо было и в этот раз. Без полосатой каймы. Значит, не «авиа». Местное. В лифте трудно читать. До седьмого этажа — я однажды посчитал: сорок пять секунд — я должен успеть хотя бы уловить смысл. Как правило, это всегда мне удается. Правда, пока распечатаешь конверт, пока вытащишь из него письмо, роняя при этом газеты, проходит время. Но все же, повторяю, я, как правило, успеваю уловить суть и смысл написанного. Но в этот раз не успел. Письмо было пространное. Написано от руки. Я ведь не случайно уже в лифте хочу познакомиться с главным содержанием писем, которые приходят мне. Тут дело не только в естественном любопытстве. В каждом письме, как известно, могут быть сюрпризы. Для меня лично дело, кроме всего прочего, в другом. Просто я знаю: как только откроется дверь моего дома, я отключусь от всего мира. С невероятным шумом бегут мне навстречу трое моих малышей. Я сажусь на корточки. Обнимаю их. Они меня валят прямо в прихожей. И весь вечер мы уже возимся вместе. Тут уж действительно не до письма. Не до газет. Все это только после того, как дети лягут спать. Ни минутой раньше.

Так получилось и в тот раз. Письмо, о котором я не вспомнил ни разу за весь вечер, я начал читать чуть ли не в полночь. Глаза уже слипались. Думал, так просто пройдуся глазами, как это обычно делаю в лифте, а повнимательнее прочту завтра. Но через некоторое время сон как рукой сняло.

Письмо это я решил обнародовать. Привожу его с некоторыми сокращениями. Опускаю все то, что имеет непосредственное отношение ко мне лично. Я думаю, имею моральное

право опубликовать это письмо. И дело не только в том, что автора уже нет. Он ведь написал письмо не случайному человеку — писателю.

«...Когда получите это письмо, меня уже не будет в живых. И если даже свершится чудо, то все равно дни мои сочтены. Это уже третий инфаркт. Так схватило, что вряд ли отпустит. Словно огонь горит в груди. Я мог бы и не писать это письмо, отправляясь, как говорится, на тот свет. Но не хочется даже в последний миг самому перед собой быть трусом. Я сознаю, что не писать нельзя. Человеку даже на суде дают последнее слово. Право на последнее слово. Жизнь в конечном итоге — это тоже суд. И письмо мое, над которым я долго думал, пусть будет моим последним словом. Я вас лично не знаю. Но читал ваши книги. И, как мне кажется, все статьи, которые печатались в газетах и журналах. Мне всегда думалось, что мы с вами единомышленники. Именно поэтому я решил последнее свое слово адресовать вам. Мне самому ничего уже не нужно. Можете письмо это, не дочитав до конца, разорвать на клочки. И все же есть у меня одна просьба. Не делайте этого. Прочтите его до конца. Сделайте это хотя бы потому, что каждому человеку на земле разрешено сказать последнее слово. Но оно лишь тогда что-нибудь да значит, когда тебя слушают. И я прошу вас: выслушайте мое слово.

Родителей я потерял рано. Остался на белом свете один. Ни единого родственника. Но, как поется в песне, «и жил я, и выжил». Окончил школу. Служил в армии. Потом — высшее мореходное училище. Мечтал о море. И стал моряком. Долгие годы плавал на знаменитой китобойной флотилии «Слава». Бил китов. Это была самая счастливая пора в моей жизни. Меня ценили. Я был гарпунером. Если бы Вы могли себе представить, какое это наслаждение — видеть, как огромный, будто судно, кит мечется из стороны в сторону, словно желая выбросить наш корабль на сушу.

Больше всех видов спорта я любил парашютный. Сделал около тысячи прыжков. До сих пор во сне вижу, как парю в воздухе. Самое удивительное состояние бывает до раскрытия парашюта. Кажется, ты вовсе и не летишь. Кажется, ты стоишь на месте, вернее, висишь под куполом, а земля летит навстречу тебе. Потом вдруг словно током бьет по твоему напряженному телу, и земля на мгновение останавливает свой стремительный бег. После первого же прыжка ты уже находишься во власти голубого неба.

Вот такой долгое время была моя жизнь. То море шло мне навстречу, то земля. Иногда шутил в небе. Шутил и пел. Вообще-то я редко пою. Бог не дал голоса. Но в небе я пел. Не знаю слов ни единой песни, но, казалось, четко произносил слова. Конечно, потом, после приземления, я осознал, что это пела душа, и пела песни, которые, видать, заложены в крови, в генах каждого из нас. Ведь пели же нам наши бабушки, а им — их бабушки. Слов песен мы не запомнили, но в каждом из нас живет их мелодия. И когда я оказывался в небе или далеко в океане, во мне непременно пробуждалась песня души.

На «Славе» я зарабатывал — дай Бог каждому. Ни в чем не нуждался. Пришло то самое время, когда уже нельзя было не жениться. И я женился. Наверное, все-таки по любви. Хорошо понимал, что нужно оставить и море и небо. И нужно, так сказать, осесть. Честно говоря, сам мечтал об этом. Это ведь только в пору романтической юности хочется в далекие края. А когда натешись морем и небом, хочется и земного. Хотелось иметь свой дом. Любимую жену. Детей.

Я сменил профессию с легкой душой и был уверен, что меня будут уважать и на новой работе, в новой жизни — на земле. Я ведь неплохо знал себя — не нытик, не ябеда. Люблю застолье. И еще — люблю труд. Теперь уже можно обо всем этом говорить в прошедшем времени.

Словом, я «осел на суше». Жили с женой на частной квартире. Я работал механиком на заводе. Поначалу вроде бы дела шли нормально. По крайней мере, на заводе все было хорошо. Меня ценили, как ценили в свое время на море. Но дома с женой все чаще ссорились. Причина была, как мне думается в том, что у нас не было своей квартиры. Но ведь в этом не было моей вины. И когда все чаще жена выражала недовольство, считая меня «белой вороной», «не от мира сего», я понял, что тут дело не только в жилплощади. Наши отношения особенно ухудшились после того, как стали таять некогда казавшиеся нескончаемыми деньги, заработанные на «Славе».

Я пытался оправдывать жену. В конце концов, не легкое дело в наш век жить на чужой квартире. И все же постоянное ворчанье жены в создавшейся ситуации я где-то в глубине души считал предательством по отношению ко мне. Ведь я, мужчина, страдал от нашего неустройства не меньше, а больше ее. И опять, в который уже раз, обратился к руководству завода. Мне дали понять, что такие вопросы решаются по-иному. Вон, мол, имярек совсем новичок на заводе, а уже въехал в новую квартиру. Понятно?

Мне стало понятно, чего от меня хотят. Я сознавал, что предложение гнусное. Но другого выхода нет. Из головы не выходило жесткое условие жены: «Не жди ребенка, пока у нас не будет собственной квартиры».

И я купил за пять копеек конверт, вложил туда солидную сумму крупными купюрами и понес своему начальнику. Мне было стыдно за себя. Ноги не шли. Руки дрожали. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Хотелось и даже мечталось, чтобы начальник заехал мне по морде. Но он по морде не заехал. Зазвонил телефон. Он взял трубку, прикрыл ее рукой и тихо сказал мне, мол, можешь идти, все будет в порядке.

Я вышел из кабинета, чувствуя, что мне не хватает воздуха. На улице закружилась голова. Закололо в сердце. В аптеке купил валидол. Одну за другой положил под язык крупные белые таблетки. Немного полегчало. На душе было пусто. Домой возвращаться не хотелось — лучше в петлю. Проходя мимо почтамта, я понял, что вовсе не случайно оказался здесь. Не торопясь зашел на почту. И дал сразу три телеграммы, в которых кратко рассказал о случившемся. Указал и сумму, и место, где деньги находились. На следующий день начальника забрали. Он, оказывается, не торопился взять купюры из сейфа, в котором было еще несколько конвертов.

Через два дня о случившемся знал уже весь город. Я рано утром, как всегда, явился на завод. Предъявил в проходной пропуск и обратил внимание на то, что вахтер демонстративно отвернулся от меня.

Дальше писать все труднее. Со мной не здоровались, от меня отворачивались. Мне казалось, что я остался один-оди-нешенек на белом свете. Но по глазам многих товарищей по работе я все-таки видел, что не все меня осуждают. Просто люди хотят покоя. Не желают ввязываться в истории, с которыми потом хлопот не оберешься. И тем не менее я по-прежнему чувствовал себя одиноким. И тогда... Вновь дал по тем же адресам телеграммы, в которых уже пытался доказать, что деньги начальник просил у меня не как взятку, а как долг. Я струсил. И от сознания собственной трусости слег. Инфаркт. Говорят, инфаркт бывает у сильных, деловых людей. Нет, он наступает и трусов. И трусов даже чаще.

В больницу мне без конца присылали передачи. Кажется, я за всю свою жизнь не ел столько апельсинов. Но от кого именно эти посылки — я не знал. Больничная няня говорила, что приносят разные люди и неизменно просят передать, чтобы я

скорее выздоравливал. И все-таки ко мне не заходили — боялись, что об этом узнают на заводе. Я их не обвинял. Даже оправдывал. У них есть семья, заботы, хлопоты. И еще они не очень верили, что зло будет наконец наказано.

Начальника все-таки посадили. И не только из-за меня. Нашлись другие улики. Но я сам после больницы уже не мог оставаться на заводе. Честно говоря, легче было с теми, кто прямо выказывал неприязнь ко мне, чем с теми, кто в глубине души был солидарен со мной, но свои чувства тем не менее скрывал от окружающих.

И я ушел. Уволился. Поступил работать на автобазу. Тем временем жена, можно сказать, полностью отвернулась от меня, не захотела понять причину моих поступков.

На автобазе, кажется, стал уже сам забывать о том, что произошло на заводе. Я повторяюсь, но все же скажу. Меня здесь тоже ценили — я умел работать. Честно и легко делал свое дело, и самому от этого было приятно. Людей, с которыми я работал, мне очень нравились. Прямые, открытые. У кого горе или беда какая — все сразу тут как тут.

Но вот как-то я стал свидетелем одного разговора. Беседовали между собой водители. Спорили. Оказалось, что чуть ли не все, кто имеет должность, даже крохотные начальники, обзавелись персональными машинами. По штату им машин не положено, а значит и шоферов. Вот и оформляли водителя либо дворником, либо вахтером, а одного даже медсестрой. Весь день торчали они, как привязанные, у своих машин, дожидаясь, когда «хозяева» выйдут из кабинетов. Большинство «владельцев должностей» сами некогда были шоферами. А главный механик когда-то был водителем персональной машины у прежнего главного механика. Обзавелись персональными кучерами. Их возят на работу и с работы. Других маршрутов у большинства просто быть не может. «Кучер» стоит, или, вернее, спит весь день.

Спорящие были людьми разных возрастов, и мнения их разделились. Одни говорили с запалом, напрямик, другие — поглядывая на стороны. Я им, помнится, сказал: «Ну, а почему же вы все-таки соглашаетесь быть в роли «кучеров», если видите, что вашему «хозяину» не положено иметь машину?» Отвечали разное. Кто ссылался на то, что ждет квартиру, кто — пенсию, кто — нового назначения.

На общем собрании я рассказал о «кучерах» и «хозяевах» во всеуслышание. Половина споривших накануне меня не под-

держала. Встали на мою сторону старики, повывавшие и войну и вообще жизнь. На следующий день вся автобаза только о собрании и говорила. Меня никуда не вызывали, не страшали. Но вскоре я сам почувствовал, что все вокруг стало другим.

Несколько раз я пытался измениться, перестроиться, что ли. Но ничего не выходило. Всегда казалось, что не простят меня ни океан, ни небо, которые по-прежнему снились каждую ночь. Я не мог предать ту песню, которая выходила из души и делала меня поистине счастливым.

Еще несколько раз сменил место работы. Не подумайте, пожалуйста, что я сейчас изливаю накопленную желчь на людей. Да и, наверное, исключено, чтобы человек перед смертью пригласил к себе в помощники такое ненормальное чувство, как обозленность. Просто вынужден был менять работу, чтобы не разочаровывать людей. Они, те самые, которые были солидарны со мной, не должны были видеть, как страдает человек, пытавшийся однажды при всех сказать правду, они не должны знать, что я никакой не боец, а самый настоящий трус. Уверен, на заводе до сих пор многие и не предполагают, что были еще повторные телеграммы, которые показали, что против зла не должны бороться беспринципные люди.

Не думайте, что легко так часто менять работу. Вот уж правду говорят, что от себя все равно никуда не уйдешь. На последней должности я трудился, как всегда, честно, молча, спокойно. И как всегда сначала все шло нормально. Но вот пригласили меня как-то в гости. Чуть ли не все сотрудники собрались в просторной квартире нашего сослуживца. Стол накрыт. Музыка. Шутки. Хохот. Во главе стола сидели наш сослуживец и атлетического сложения малый со стриженной крупной головой. Пир был в самом разгаре. То и дело меняли тарелки, подавали новые блюда. Хозяйка дома, вместе с другими женщинами суевившаяся вокруг стола, всякий раз, проходя мимо бритого атлета, с чарующей улыбкой смотрела на него. Иногда на полном ходу останавливалась около него и целовала прямо в темя. Я уже давно понял, что это за «атлет», как понял и то, что это за пир. Сын вернулся. Точнее сказать, не вернулся, а вышел. Вышел на свободу. Сидел в колонии.

Мы хорошо знаем, что в старину деды наши за своих детей в таких случаях краснели. Не знали, куда спрятать глаза. Да и дом такой соседи обходили стороной. Дом, в котором находился бывший преступник. А тут... И уж совсем все растаяли, когда по настоятельной просьбе отца сын спел песню. Спел дей-



ствительно хорошо. Сейчас, говорят, это не просто модно. Это прямо как ярмарка, как выдача аттестата. За столом поет и вообще показывает свой талант отпрыск. За столом, за которым сидит какое-то начальство. Оказалось, что бритоголовый атлет раньше не раз вот так же пел за столом и тем умилял гостей. Об этом говорилось в тостах-воспоминаниях.

Вскоре я понял, что не смогу долго сидеть за столом. Дело осложнялось еще и тем, что я, как только узнал об истинной причине пира, больше не притрагивался к еде. И не пил. Кое-кто стал поглядывать на меня. Хотел уйти, как говорится, по-английски, незаметно. Но ничего не вышло. Получилась демонстрация.

Вы, наверное, думаете: зачем он обо всем этом пишет? А я не пишу. Я говорю мое последнее слово. И хочу, чтобы хоть кто-то выслушал меня. И еще хочу, чтобы вы не подумали, что я все слишком упрощаю и обобщаю. Что, мол, человек уходит из жизни с обидой в сердце. Физической болью. Но никакой обиды у меня нет. Ухожу из жизни человеком, который знал счастье, который был на «ты» и с океаном, и с небом, и, конечно, с землею. Я, если хотите знать, не себя успокаиваю, а вас. Мне уже ничего не надо. А вы должны верить, что можно бороться со злом и победить.

Я ведь, если быть честным до конца, доволен собой. Я боролся. Боролся, как мог. Боролся, потому что видел чаще хорошее, чем плохое.

Я часто проигрывал. Но никогда не жаловался. Не говорить о грязи надо, а счищать ее. И я, сколько мог, делал это, стараясь оставаться чистым. Не всегда, правда, мне это удавалось. Но я стремился.

Я уношу с собой запах земли, память о чистом голубом небе и свежем океанском просторе. И еще песню души, завещанную матерями, любовь к людям, даже к тем, кто меня не понимал...»